

ДВА ЭССЕ

ЧЕЛОВЕК СО ВЗДОХОМ

Он был – Иван Иванович. И отец его, и дед по отцу были Иваны Ивановичи тоже.

Зато фамилия прекрасная: Панаев. Настоящая старинная. Правнучатый племянник Державина, и всё такое.

Он родился в 1812 году на берегах Невы. Точней – на правом берегу. Которого линия на протяжении километров восьми – примерно от нынешнего моста Александра Невского до нынешнего моста Володарского и далее – принадлежала отцу его матери. Т. е. Панаев должен был со временем унаследовать почти весь Невский район – всю арендную плату от располагавшихся вдоль берега заводов, складов и мастерских.

Оба деда и отец умерли, когда Иван был ещё мальчик. А мать любила тратить, не любила считать, доходами ведал плут-управляющий – к началу 30-х годов хватало уже только на жизнь. На жизнь в большом собственном доме, с прислужгой, с экипажем, с приживалками, но без затей.

Кстати, это Иван Иванович придумал слово: *приживалка*. И ввёл в литературу. Панаеву же были обязаны жизнью *хлыщ*, *лев*, *львица*, *камелия*, но век этих существ оказался недолог. Впрочем, они все удостоены погребения в словаре. Кроме *камелии*, конечно. (Нравы смягчились настолько, что хотя народный термин, обозначающий эту профессию, всё ещё используется как главный замедлитель русской речи, но в обиходе светских людей обычно подменяется фонетически близким наименованием тонкой лепёшки из жидкого теста, испечённой на сковороде.)

Литературу он полюбил в Благородном пансионе при СПб. Университете: было такое, специально для дворян, учебное заведение ниже среднего, но с привилегиями высшего. Аттестат давал право на чин 10-го класса (отличникам), 12-го (троечникам), 14-го (остальным). Несмотря на нуль по математике, Панаев получил 10-й (коллежского секретаря), поскольку свободно владел французским и с эффектом произнёс речь о значении русской словесности.

Оставалось приняться за карьеру, по примеру отцовских братьев: дядюшки были довольно важные чиновники. Мамаша мечтала видеть его камер-юнкером.

Панаев обманывал её лет шесть подряд: по утрам уходил из дома, как будто на службу, а сам слонялся по Петербургу. От книжной лавки до книжной лавки, от кондитерской до кондитерской. Затесался в несколько гостиных, где собирались писатели, там и проводил свои вечера. Как заядлый окололитературный трутень: только и делал, что читал и пил. Впрочем, опубликовал две повести, но сам полагал их ничтожными. Не верил в свой талант и не понимал, зачем жить.

В 1834 году с ним случилось нечто важное. Прохаживаясь по Невскому, он заглянул в кондитерскую Вольфа – “Café chinois”, – подошёл, как обычно, к столу, на котором разложены были печатные издания, и взял свежий номер московской «Молвы». Прочитал статью Белинского «Литературные мечтания», впервые почувствовал себя счастливым, с этой минуты сделался его фанатом. Говоря более высоким слогом, обрел в нём властителя своих дум.

Белинский ставил выше всех Шекспира и Фенимора Купера (отчасти колеблясь утвердить окончательно, чей гений выше). Панаев решил их переводить – с французских переводов. В 1836 изготовил «Отелло» и принёс Якову Брянскому – актёру Александринского театра: не возьмёт ли (разумеется, даром) для своего бенефиса. Брянский трагедию взял, в следующем году её сыграли. У Брянского были две красавицы дочери. Старшая, Нимфодора, только что поступила на сцену, и Дездемона была её первая роль. И последняя: в неё влюбился и тотчас женился на ней некто Краевский, чиновник Минпроса, начинающий издатель. Панаев же по хо-

ду репетиций увлёкся младшей дочерью – семнадцатилетней Евдокией, Авдотьей. Но жениться без позволения матери (о котором не могло быть и речи) – значило ввергнуть Авдотью в нищету. Он был человек без определённого положения – работал в журнале Краевского «Отечественные записки», но будущий свояк ничего ему не платил.

Между тем Авдотье дома жилось тяжело. Сценического дарования, – следовательно, мало-мальски интересного будущего – у неё не было. Разве что имелся шанс пригласиться императору и заслужить, по обычаю, приличное приданое. Неизвестно, насколько такая перспектива ужасала молодую особу, но Панаев презирал бы себя, как предателя, если бы не попытался её спасти.

(Всё это – и многое из дальнейшего – описано в романе, всем известном, – «Что делать?» Чернышевского, – но литературная т. н. наука замела следы. Я первый настолько нагл...)

А у Панаева был ещё какой-то дедушка, не то дядюшка – страшный богач и, очевидно, самых честных правил. В конце 1838 года он скончался – и Панаеву досталось по наследству имение в Казанской губернии: большая деревня и лес. Таким образом, Иван Иванович вдруг превратился в самостоятельного хозяйствующего субъекта – стал помещиком. Не теряя ни минуты, он похитил Авдотью Яковлевну, потихоньку с нею обвенчался и увёз в Москву. Где первым делом отыскал Белинского, чтобы уговорить его перебраться в северную столицу и писать для «Отечественных записок». Добившись согласия, съездил в Казанскую губернию, на скорую руку облегчил положение доставшихся ему крестьян (отменил, само собой, барщину и убавил оброк). Оттуда опять в Москву, перезнакомился и за две недели подружился навеки со всеми передовыми людьми (благо их считалось немного: Грановский, Герцен, Огарёв, Кетчер), после чего с молодой женой и с Белинским возвратился домой, в Петербург.

Мать его простила, и вообще жизнь пошла весело и с пользой для литературы.

Он играл с Белинским в карты по маленькой, а также переводил для него и для Eudoxie французские романы и научные труды по истории, по философии: не для печати, а единственно чтобы расширить их кругозор и свой заодно. Всю неделю переводил, а по субботам читал вслух. На эти чтения допускались избранные приятели, понемногу образовался подобный московскому круг передовых людей (Тургенев, Анненков, Григорович, Некрасов). И Белинский произносил потрясающие монологи, писал потрясающие статьи, а сам Панаев писал очень даже недурные повести и фельетоны, и все вокруг только и говорили что об «Отечественных записках». А Eudoxie разливала чай.

Кроме того, она родила девочку. Но девочка очень скоро умерла.

Чтобы развеяться, Панаевы предприняли путешествие за границу.

В Париже Иван Иванович познакомился с отличным, тоже передовым, человеком по имени Григорий Михайлович Толстой. Который поделился с ним своей мечтой: всю жизнь и все силы, главное – всё свое достояние (сотни крестьянских душ и тысячи десятин земли) отдать на борьбу за освобождение человечества. Он уже сделал соответствующее предложение одному немецкому публицисту – доктору Карлу Марксу, – тот отнёсся благосклонно, однако сказал, что должен подумать. А Григорию Михайловичу не терпелось, и он советовался с Панаевым – как быть.

По возвращении в Петербург этот парижский разговор припомнился как нельзя кстати. Белинский был плох. Болел и бедствовал. Его угораздило жениться, и шести тысяч, которые платил ему в год Краевский, не хватало катастрофически. Дружественные литераторы как раз уговорились было собрать альманах (составился уже пухлый том под условным названием «Левифан») – от кого повесть, от кого статья, и никакого никому гонорара, весь барыш – великому критику. Но теперь возникла идея получше. Имея оборотный капитал, можно было завести новый журнал. В котором Белинский писал бы, что хочет, печатал, кого хочет (ясно, что гениальных друзей), получал бы денег, сколько хочет.

Так всё удачно сложилось, всё необходимое было в наличии. Во-первых, громада первоклассных материалов («Левифан»); во-вторых, высококвалифицированный менеджер (каким уже проявил себя Некрасов; кстати, Белинский нашел у него и поэтический талант); в-третьих, творческий коллектив из самых ярких русских писателей; в-четвёртых, харизматический лидер. А теперь намечалась, в-пятых, и финансовая база в виде сотен душ этого замечательного Толстого (хотя Панаев планировал и своё доленое участие: решил продать лес).

И летом 1846 года Панаевы и Некрасов отправились к Толстому в гости: обсудить детали, заодно и поохотиться на дупелей, а Eudoxie пусть разливает чай.

Поохотились действительно славно, и договорились обо всем. И вскоре приобрели пребывавший в анабиозе петербургский журнал «Современник», и в 1847 году пустили его в ход.

Правда, Григорий Толстой оказался обыкновенным фанфароном, не дал ни копейки, так что Панаеву пришлось продать не только лес, но и деревню.

И передавать редакцию Белинскому оказалось неразумно. Некрасов считал: это было бы всё равно что расписаться в политической неблагонадёжности, да и просто – никто не позволит. И долю в прибыли выписывать умирающему нелепо, разбирайся потом с вдовой. Белинский действительно умирал – и в 1848 году умер. Панаеву тоже никакого пая не досталось, верней – неудобно стало насчёт него спрашивать, поскольку выяснилось, что Некрасов и Авдотья Яковлевна, что называется, любят друг друга, и теперь они с Панаевым (предполагалось и прибавление) – одна семья, с общим бюджетом, в коммунальной, стало быть, квартире.

Как это выяснилось и устроилось – рассказано (пересочинено) опять же в романе «Что делать». Дескать, Лопухов сам уговорил Кирсанова и сам развеял предрассудки Веры Павловны. («– Муча себя, ты будешь мучить меня.

– Так, мой милый; но ведь ты будешь страдать, если я уступлю этому чувству, которое – ах, я не понимаю, зачем оно родилось во мне! я проклиная его!

– Как оно родилось, зачем оно родилось, – это всё равно, этого уже нельзя переменить. Теперь остаётся только один выбор: или чтобы ты страдала – и я страдал через это; или чтобы ты перестала страдать – и я также».)

Чернышевский вообще симпатизировал Авдотье Яковлевне. Хотя, как сам кое-кому после говорил:

– Невозможная она была женщина.

На самом-то деле она просто была принципиальная. Но принцип у нее был один: не отказывать себе ни в чём. И она никогда им не поступалась.

У Некрасова принципов было несколько разных.

Жизнь этой странной семьи протекала как сплошной скандал. То он занеможет и всю Россию заставит его оплакивать, пока Авдотья Яковлевна не найдёт толкового врача, способного отличить от горловой чахотки тривиальный сифилис. То её потянут к суду за кражу больших денег у близкой подруги, а Некрасову платить, да еще терпеть от Герцена презрительную брань.

Любовь и деньги шли тёмными волнами – прибывали, убывали. Обходя Панаева.

Пока Некрасов с его как бы женой мирился и ссорился, разъезжался и съезжался в Париже и в Риме – и сочинял про всё про это стихи для «Современника», – Иван Иванович редактировал журнал и вообще занимался исключительно литературой. Попивал – но слегка, насколько позволяли гонорары. Вообще – приближаясь к пятидесяти, окончательно присмирел. Говорил, прикладывая руку к груди: я человек со вздохом.

– Я знаю, что мои писания с точки зрения высшей, с художественной точки рассматривать нельзя, да я и не имел никогда на это претензии; я на них смотрел всегда как на беллетристические произведения, удовлетворяющие требованиям минуты, способствующие журналу так, как неглупый и небезталантливый актёр способствует ходу пьесы, в которой играют высшие таланты. Я себя считаю литературно полезностью (utilité), вот и всё. Мне было бы только тяжело расстаться с этим убеждением...

Последний день масленицы 1862 года прошёл так: Некрасов отправился, по обыкновению, в Английский клуб, Панаев – к двоюродной сестре на блины (тонкие лепёшки из жидкого теста, испечённые на сковородке), Eudoxie – в театр.

Спектакль ей надоел, она уехала, не досмотрев последнего акта. Дома лакей сказал, что Иван Иванович дурно себя чувствует. Она зашла в его комнату. Он лежал на кровати, но приподнялся, сказал:

– Прости, я во многом ви...

На этом умер. А она и Некрасов жили ещё долго и несчастливо.

Иван Иванович всегда, возвращаясь с чьих-нибудь похорон, говорил ей, «что не желал бы лежать ни на одном из петербургских кладбищ, кроме Фарфорового завода, расположенного на возвышенном, песчаном берегу Невы».

Поэтому могилы Панаева не существует. Там, где она была, – станция метро.

ЗЛАК ЗЕМНОЙ

Скуки дорожной ради – отчего бы и не поворошить чужую тайну? Верней – насыпанную над нею груду слов.

Добудем из-под басни – сплетню. Это, по крайней мере, жанр взрослых людей: подтверждает, что жить не умеет никто; тем самым утешает.

О женщинах (по крайней мере, о своих) Фёдор Тютчев думал – как бы это сказать? – не по долгу. Гораздо больше, чем о детях, но меньше, чем, например, о стихах.

Это не мешало им (разумею женщин) поочередно разорять и благоустраивать его жизнь, разорять и благоустраивать, словно какое-нибудь завоёванное королевство. И он переходил из рук в руки, не оказывая сопротивления. Будучи постоянно занят заботами поважней.

Если бы, скажем, цыганка нагадала Тютчеву, что через двести лет его будут помнить лишь как поэта, – он только усмехнулся бы снисходительно. Для себя – и для всех, кто его любил, – он был пророк.

Теперь это называется – политтехнолог, политконсультант, правильной всего – политсценарист. Человек, умеющий вообразить последствия происходящих событий. Уловить смысл своего времени – как бы разгадать, куда клонится сюжет сериала и кого какая ждёт судьба.

Европейские державы были для Тютчева живые существа с человеческими характерами, толпящиеся вокруг огромного игорного стола. Себя же он чувствовал зрителем – но каким! Единственный в зале, он знал расклад и, сверх того, умел читать мысли. Тот из игроков, кто прислушался бы к его шёпоту, неизбежно сорвал бы банк.

Император Николай, вообще-то, был извещён, что, дескать, есть в МИДе чиновник с таким удивительным даром. Прочитал пару меморандумов с прогнозами. Ничему не поверил.

И, конечно, был прав: прогнозы строились на таких диагнозах, которые свидетельствовали только о пламенной любви камергера Тютчева к отчизне, где он четверть века отсутствовал. Типа того, что если российское самодержавие, как истинный оплот демократии, не примет срочных мер, то Западной Европе – конец: её ждёт всеобщая революция, вслед за которой восторжествует диктатура Папы Римского. И т. д., и т. п.

Короче, Тютчев был праздный мечтатель. Пикейный жилет. Но красноречивый неотразимо, поскольку предсказывал то, что предчувствовал. Искренне принимая свою личную хроническую тревогу – за гениальность.

Перед которой ни одна слушательница устоять не могла.

Уж на что практичная дама была вторая супруга (урожденная Пфэффель, в прежнем браке баронесса Дёрнберг). До того трезво смотрела на вещи, что, начиная прямо с медового месяца, сохраняла все счета, по которым платила за Тютчева и его дочерей, когда он на несколько лет был отставлен (из-за неё, между прочим) от должности и оклада. Но вот что писала из Петербурга (в 1850 году) мюнхенскому кузену:

«Он думает (он – мой муж), что в интересах ваших детей, в частности ради будущего вашего сына, вам следует до наступления новых катастроф реализовать ваше состояние и переселиться всем домом в Россию, где с вашими капиталами вы ещё сможете приобрести земли на юге, получать хороший доход, воспитать сына для русской службы и выбраться из крушения, которого, по его мнению, Западной Европе совершенно невозможно избежать. Что до меня, дорогой друг, я уверена в его правоте и очень хотела бы внушить вам свою убеждённость...»

И все они так понимали: что у Тютчева сверхчеловеческий ум, и сам он не совсем человек, а высшее существо. И чуть ли не каждая говорила ему, что готова в любую минуту за него умереть (он это пересказывал – им в похвалу). И каждая была убеждена: во-первых, что не нужна ему; а во-вторых, что без неё он пропадет. И то и другое, разумеется, было правдой.

К своему счастью, они не читали его стихов. Одна Денисьева, к своему несчастью, читала (и приходила в такое исступление, что швыряла ему в голову тяжёлые предметы; чуть не убила однажды каким-то пресс-папье; но всё равно требовала стихов ещё и ещё).

Он писал про любовь, которой в нем нет или уже нет, или даже никогда не было. (Денисьевой – просто с какой-то иезуитской прямоотой: дескать, прямо восхищаюсь и завидую – до чего сильно ты меня любишь; даже совестно, что мне так чувствовать не дано.)

1835 год, Мюнхен, дом где-то на Каролиненштрассе, кабинет, камин, кресло, сигара. Тщедушный большеголовый карлик в круглых очках.

Сию задумчив и один (*слышен акцент, не правда ли?*),
На потухающий камин
Сквозь слёз гляжу...
С тоскою мыслю о былом,

Но слов, в унынии моем,
Не нахожу.

Былое – было ли когда?..
Что ныне – будет ли всегда?..

И т. д. Разные общие места, с носовым таким призвуком. Всё проходит, благодаря чему природа обновляется; и ты, земной знак по имени человек, знай своё место в круговороте и не ропщи, поскольку на смену тебе придут другие такие же растения.

Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
Не расцветёшь...

Ты сорван был моей рукой
С каким блаженством и тоской –
То знает Бог?
Покойся ж на груди моей,
Пока любви не замер в ней
Последний вздох...

Немного забавно: цветок на груди у злака. Но первая m-me Тютчева – Эмилия-Элеонора, урожденная графиня Ботмер, в предыдущем браке – Петерсон, владеет она русским языком, рыдала бы всю ночь, вникнув, что тут ведь не обещание любить до последнего вдоха, – наоборот: ожидание последнего вдоха любви!

А наутро, глядишь, раздумалась бы: неужели это про неё Теодор сочиняет, что сорвал её, как цветок? Про женщину старше себя, мать четверых сыновей, изменявшую Петерсону с ним, тогда двадцатидвухлетним?

Но если не про неё, то кто же сей бедный, бледный цвет? Не Эрнестина же Дёрнберг, та очень даже яркая. Да и тоже вдовушка, не ландыш.

Амалия Лёрхенфельд? Она теперь Крюденер, и далеко, в Петербурге, и флиртует с императором...

Ботмеры – странный род, причудливые люди. С Элеоноры стало бы обыскать ящики письменного стола.

И ей, чего доброго, попался бы на глаза ещё и такой листок:

ДВУМ СЁСТРАМ

Обеих вас я видел вместе –
И всю тебя узнал я в ней...
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж свежесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!..

И всё, как в зеркале волшебном,
Всё обозначилось вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!..

Давнишнее стихотворение – 1829 еще года, – и в нём уж недомолвок никаких. Это точно про неё, про Элеонору – что свою молодость отдала другому. Это про любовь к ней – погибшая любовь! А та – прекрасное отражение – конечно, Клотильда.

Клотильда, графиня Ботмер! Младшая, неразлучная сестра. Сколько ей было, когда Тютчев появился в Мюнхене, – тринадцать, четырнадцать? В 29-м – двадцать. У неё с Гейне всё уже было кончено. А пока продолжалось, Теодор не ревновал, вчетвером было так весело. Его погибшая любовь! Погибшая любовь!

Это всё беллетристика. Русский язык труден, изучать его Элеоноре, рожавшей за дочь дочь, было некогда.

И текст 1836 года остался ей неизвестен:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь...

И т. д. Ни этих строф, ни, само собой, «Лолиты» не прочитав, бедная Элеонора, тем не менее, в том же 1836 году, в начале мая (когда весенний первый гром), почувствовала «неизъяснимую тоску и желание освободиться от неё во что бы то ни стало... Принявшись шарить в своих ящиках, она напала вдруг на маленький кинжал, лежавший там с прошлогодного маскарада. Вид стали приковал её внимание, и в припадке полного исступления она нанесла себе несколько ударов в грудь... Истекая кровью и испытывая ту же неотвязную тоску, она спускается с лестницы, бежит по улице и там, в трехстах шагах от дома, падает без чувств...»

Умерла она, впрочем, только в 1838 году, после пожара на пароходе, долго рассказывать.

Тютчев был буквально убит (по семейной легенде – посидел за одну ночь), буквально сходил с ума (в письмах к Жуковскому и другим) и появился на публике об руку с баронессой Дёрнберг только через полгода.

Тотчас же Клотильда Ботмер, взявшая было осиротевших племянниц к себе, уведомила его письмом, что приняла предложение барона Мальтица.

Это было очень кстати: ввиду беременности Эрнестины откладывать венчание на сколько-нибудь приличный срок не приходилось. Тютчев написал министру:

«Мною было принято твердое решение надолго еще отсрочить этот шаг. Однако одно обстоятельство, касающееся моих детей, поневоле вынуждает меня к другому решению. Я поручил их прошлой осенью заботам своей свояченицы, графини Ботмер, живущей в Мюнхене. Последняя в будущем месяце выходит замуж и тотчас же после свадьбы должна уехать из Мюнхена в Гаагу. Итак, я вижу себя вынужденным, взяв их к себе, как можно скорее озаботиться о том, чтобы доставить им необходимый уход и надзор, которые я один не мог бы им обеспечить...»

Вот, стало быть, и дети пригодились. И были вознаграждены. Во всяком случае, их дедушку и бабушку (своих, то есть, папеньку и маменьку) в далёком Овстуге Тютчев порадовал:

«...Меня охраняет преданность существа, лучшего из когда-либо созданных Богом... Я не буду говорить вам про её любовь ко мне; даже вы, может статься, нашли бы её чрезмерной. Но чем я не могу достаточно нахвалиться, это её нежностью к детям и заботой о них... Утрата, понесённая ими, для них почти возмещена. Тотчас по приезде в Мюнхен мы взяли их к себе, и две недели спустя дети так привязались к ней, как будто у них никогда не было другой матери...»

Впоследствии оказалось, что всё не так замечательно. И старшая дочь – Анна – записала монолог:

«— Первые годы твоей жизни, дочь моя, которые ты едва припоминаешь, были для меня годами, исполненными самых пылких чувств. Я провёл их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда. Однако дни эти оказались так быстротечны, и с ними всё исчезло безвозвратно. Теперь та пора моей жизни – всего лишь далёкая точка, которая отдаляется все более и более и которую настичнуть я не могу...»

Предстоял еще роман, и за ним – трагикомическая старость.

В которой под конец – после всего – случилось и свидание с г-жой Мальтиц. И было воспето подобающим образом – с галантным таким, расслабленным умилением:

...Как после вековой разлуки
Гляжу на вас, как бы во сне,

И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Вообще так себе стишки – тенором, тенором! – если бы не инициалы **К.Б.** над ними да не восклицательный знак в конце:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, –
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

Из наслаждений жизни любовь уступает лишь иностранным газетам.
Но хорошо, что предсказание ни одно не сбылось.